Дина Миронова

ПОТЕРЯННОЕ ДЕТСТВО

ДИНА МИРОНОВА

ПОТЕРЯННОЕ ДЕТСТВО

ПОВЕСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
1959

Автор повести «Потерянное детство» — сказительница Дина Демьяновна Миронова. Детство ее протекало в русской дореволюционной деревне, в семье бедняка-крестьянина. Оставшись двенадцати лет круглой сиротой, она была взята в дом помещицы ухаживать за собачкой.

Горячее стремление Дуняши научиться читать вызвало гнев барыни, и однажды в сильную зимнюю стужу она выгнала девочку на мороз.

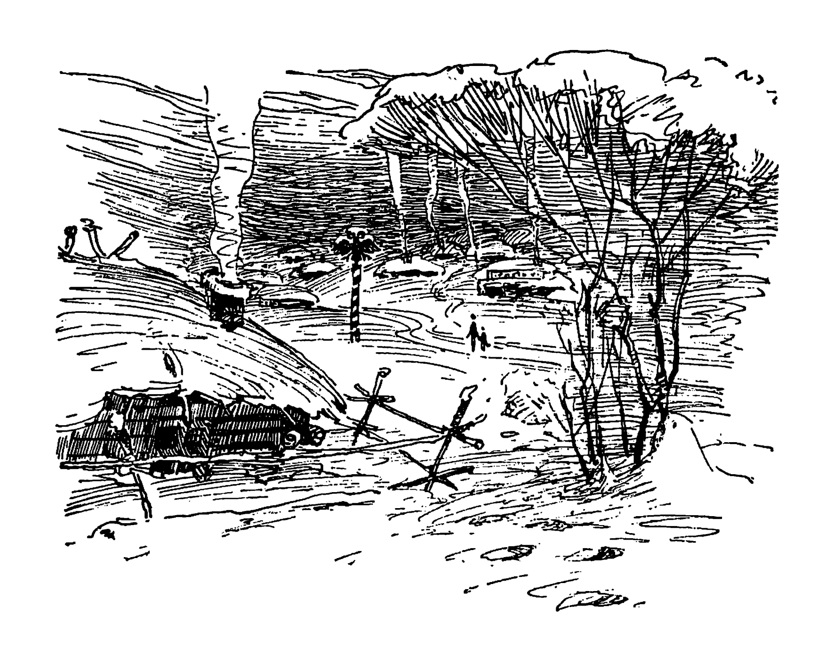
Дуняшу подобрал кладбищенский сторож и отвел в соседний монастырь. Здесь она столкнулась со средой темных, кликушествующих монахинь. В повести «Потерянное детство» правдиво отражены детские годы писательницы.

Великая Октябрьская революция открыла дорогу творчеству Д. Мироновой. Раскрывается заложенная с детства способность складывать сказки. Дина Демьяновна начинает записывать и литературно обрабатывать свои устные сказки и рассказы.

В дни Великой Отечественной войны, будучи в Туркмении, Миронова выступает в школах, госпиталях, воинских частях, на фабриках и заводах с чтением своих произведений.

Газета «Туркменская искра» публикует ее рассказы: «Полосатая рубашечка» и «Обгоревший башмачок», а журнал «Совет Эдебиаты» — «Сказание о герое Курбане Дурды».

В 1947 году в Детгизе выходит сборник сказок Мироновой. Позже этот сборник переиздается в Болгарии и Германской Демократической Республике. Сказки Мироновой печатались и в детских журналах Москвы, Риги, Кишинева.



Далеко от проезжей дороги стояли горбатые избенки, занесенные снегом. Слепые от мороза окна глядели на улицу. Деревушка была глухая, заброшенная. Свечку богу — и ту ставить ходили за три версты, в село Погонаево.

Посреди деревни стоял кабак. Днем и ночью неслись оттуда брань и ругань мужиков.

Шел 1913 год...

Зима была тяжелая, голодная. В избе холодно. Мороз всю ее насквозь прожигает. Бывало, заберется Дуняша с братом на печь, греются и никак не согреются.

Дуняше шел уже двенадцатый год, а братишке — третий. Был он красивый, кудрявый Так и прозвали его Кучерявчиком. Все бегал по избе вперевалку: топ, топ, топ.

А мать глядела на него, говорила:

— Кормилец ты мой! Труд-то тебе придется нести непосильный, а все же легче, чем бабе будет...

Однажды вечером сидела мать у прялки. Нитка тянулась, закручивалась, как локон Кучерявчика, а веретено жужжало.

В окно постучали.

— Кто там? — спросила мать, вздрогнув.

Послышался голос соседа, деда Матвея:

— Не пужайся, Настя, я тебе весточку из города привез.

Мать выбежала из избы и скоро воротилась с белым конвертом в руке. Села она на лавку к огню, разорвала конверт и долго глядела на большие кривые буквы.

Потом спрятала письмо в карман, быстро оделась и вышла из избы. Было поздно. Кое-где в заиндевелых окнах еще горел огонь.

«И здесь не спят, — нужда нитку тянет...» — подумала Настя.

Где-то близко затявкала собака. Скоро Настя миновала гумно. Ветер усилился, срывая с ее головы клетчатый платок, словно шептал на ухо: «Эх ты, горемычная, что так поздно лаптями по снегу скрипишь?»

Насте стало страшно. «Воротиться домой? — подумала она. — Нет, нет! Не ворочусь! Надо же узнать, что в письме. Душа изболелась, ведь без малого год как не видались».

А Дуняша долго сидела на печи, прислушивалась к каждому шороху. Она знала, что мать пошла к деду Захару — он грамотный был, всем письма читал. В зимнюю стужу редко в деревню письма приходили, и про него все забывали. А жил Захар далеко, за оврагом, на самой опушке. Зимой его избенка казалась высоким белым сугробом — лишь две скворечни, прибитые к толстым стволам березы, да иногда дымок из трубы говорили о жилье. А весной, когда лес молодел, пеньки щетинились от зеленого мха, на крыше у Захара скворцы выдалбливали червей.

— Ну, дьяволы, облепили избу, еще свалите! — говорил он, добродушно улыбаясь, и бросал на крышу зерно.

...Дуняша все сильнее прижималась к трубе. Ее клонило ко сну, но она твердила:

— Все одно не засну, не засну, пока маманька не придет.

Но веки ее тяжелели, и она заснула.

Мать воротилась поздно. Села на лавку и долго вглядывалась в письмо, что-то шептала, словно читала.

...В это утро мать раньше всех затопила печь.

Скоро и на других крышах показался серый дымок. Заскрипели полозья.

Проснулся и сосед, дед Матвей.

— Ну, ну, — покрикивал он на свою лошаденку.— Хомут надевать не хочешь, ишь ты, старая барыня!

Жил дед Матвей бобылем. Двух его сыновей в японскую войну убило, жена с горя померла, а он еще за жизнь цеплялся да богу поклоны клал. Кормился дед лошаденкой: кому молоко в город возил, кому лапти плел — на всю деревню лаптями славился.

Долго было слышно, как дед понукал свою клячу.

— Но!.. Но!.. Поворачивайся!

А у Насти в избе пахло печеным хлебом. На столе лежали большие сморщенные караваи, черные, как земля.

Дуняша слезла с полатей, подошла к столу. Мать радостно сказала:

— А я ждала-ждала, пока проснешься. У нас радость, дочка! Сегодня отец из города придет!

У Дуняши часто-часто забилось сердце. Она подбежала к пузатому рукомойнику, стала усердно тереть руки, глаза, щеки...

Мать целый день хлопотала. Грела в чугуне воду, мыла Кучерявчика. Надела на него чистую самотканую рубашонку, расчесала кудри. Долго глядела на сына, не отрываясь, думала: «Одно лицо с отцом!»

А Дуняша не отходила от окна. Уже седая паутина сумерек поползла по избе. Мать раздула огонь.

...Они не слыхали, как вошел отец в избу, в полушубке, в барашковой высокой шапке и в новых лаптях. В черной его бороде блестели сосульки. Он поставил сундучок на пол, вздохнул, выпрямился. Дуняше показалось — отец подпер широкими плечами полати, и кособокая изба ровнее стала.

Кучерявчик заплакал, обхватил материну шею пухлыми ручонками.

— Ишь ты, — сказал отец, — какой бирюк! Отвык от меня. Ну, айда!

Он взял Кучерявчика на руки, поцеловал:

— Настя, чем ты кормишь этого медвежонка, что он у тебя такой сдобный.

Мать улыбнулась.

Дуняша стояла у печки, опустив глаза. Хотела было броситься к отцу, да не посмела. Отец подошел и обнял Дуняшу:

— Ты что, дочка, не рада отцу-то? А я вам, детки, гостинца привез, и тебе, Настя.

Он открыл сундучок, положил на стол калач и стал вынимать чашки с голубыми ободочками.

— Вот спасибо, Демьян, — говорила мать, — удружил ты мне! Знать, дорого заплатил?

Отец улыбался:

— Нешто купец говорит, когда с мужика лишний рупь берет? Так и ты не допытывайся.

Сели пить чай. Мать угощала отца лепешками, а он глядел на нее и говорил:

— Эх, Настя! Видала бы ты, как живут в городе! Вот он кто, мой хозяин? Первой гильдии купец. Добра и деньжищ много, а все прячет, все на запоре держит да под замками. И гостей-то принимает только в престольные праздники. Один сын у него — и того допек жадностью да попреками: не стерпел парень, ушел из дому.

— Богачу золотой нутро греет, — сказала мать. — Он ему роднее детища.

— А сын не в отца — добрый, ласковый. Росточком небольшой, на лицо конопатенький, а как заговорит — заслушаешься!

— Известное дело, ученый — у них и разум

иной,— сказала мать.— Ты пей, Демьян, чай-то стынет.

А отец, словно и не слыхал, продолжает:

— Хороший он человек, Настя. Часто он ко мне в конюшню заходил, о деревне заговаривал. Вот однажды взял меня на охоту уток пострелять. Подошли к кустарнику, а он поглядел на меня и говорит: «Давай-ка, Демьян, книжку почитаем».

«Чудит, — думаю,— барин: пришли уток пострелять, а он за книжку...» Ну, что ж, уважил барскую затею. «Давай,— говорю,— читай, ежели тебе охота». Эх, Настя, правды-то в ней сколько было, в книжке! Все о мужике: не разгибает, говорит, спины от земли, а барин как паук сосет. А люди все должны быть равны, говорит. И так, Настя, барчук растолковал мне все, будто думы в голове мои читал.

— Правда, Демьян, нужда поедом нас ест. Но, видно, на все божья воля...

— Бог тут ни при чем, Настя. Темнота наша — вот она и закрывает нам глаза. Загнать бы их, пауков, в болото, чтоб одни ноздрястые пузыри от них остались!

Демьян понизил голос, поглядел вокруг и тихо добавил:

— Еще люди сказывают, что цари войну готовят.

Он словно себе говорил:

— Каждый желает земельки побольше. А мужика — под свинцовую пулю...

Настя руками замахала на него:

— Что ты, что ты, Демушка! Пей чай.

В тревоге она поднялась и опять села на лавку. Кучерявчик заплакал. Отец вскочил, взял его на руки, стал укачивать, баюкать, словно хотел заглушить свои тяжелые мысли.

* * *

Скоро у отца завелась с Кучерявчиком дружба. Как только сядет отец на лавку, он тут как тут, заберется верхом на ногу, как на лошадь, а отец улыбается:

— Ишь ты, приловчился, — а сам его подбрасывает.

Кучерявчик трясет кудрями, хохочет.

Да недолго пришлось отцу радоваться. Затосковал вдруг Кучерявчик, и к отцу не встает, пить часто просит. Стала Настя умывать его святой водой, а отец говорит:

— Что ты, Настя, это у него нутро болит. Святая-то вода не смоет болезнь. Вот бы к лекарю в город повезти!

Мать руками развела:

— А стужа-то, гляди, какая!..

Прошло несколько дней. Подошел утром отец к зыбке, спрашивает:

— Что это у него, Настя, аль я ослеп?

А у Кучерявчика все лицо покрылось черной корой, не стало ямочек на розовых щечках.

Мать ночи просиживала у зыбки, не отрываясь глядела на Кучерявчика причитая да приговаривая:

— Видно, бога прогневали, что такую напасть послал.

А Кучерявчик метался в жару, жалобно стонал. Дуняша просыпалась, слушала стоны брата, шепот матери. Все это казалось ей страшной сказкой. Она закрывала глаза, прижималась к подушке.

Однажды Дуняша проснулась от крика матери. Слезла она с полатей, увидела: держит мать на руках Кучерявчика. А он глядит одним глазом, а на другом бельмо. Все лицо изрыто ямами, смотрит он жалобно и морщит губы. И на прежнего Кучерявчика не похож. Дуняша закричала, заплакала, обхватила материны колени, и так они сидели до утра.

На рассвете они услыхали за окном знакомый скрип лаптей и пьяное бормотанье. Мать вся съежилась. Дуняша спряталась под стол.

Отворилась дверь. В избу вошел отец. Большой, красивый, волосы на голове как шапка, а лицо сердитое, недоброе... Шагнул к столу и, не глядя на мать, сказал:

— Дай, Настя, денег!

Мать молчала.



А у отца пальцы сжались в кулак:

— Слышь, Настя! Тебе говорят! Добром дай.

— Что ты, Демьян! Побойся бога! А чем ребят-то кормить?

Отец размахнулся, ударил ее. Она покачнулась и упала на пол.

— Тятенька! Тятенька!.. Не бей, не бей! — закричала Дуняша.

Кучерявчик заплакал и потянулся к матери.

Отец словно отрезвел, окинул глазами избу, вздохнул:

— Эх, доля!.. — Сел на лавку, обхватил колени руками. Голова его поникла: он заснул.

В избе было душно, тесно. Тараканы набились по углам.

Вздрагивающий огонь лампады освещал и перебирал их медные спинки.

Мать с трудом поднялась с пола. Вылезла из-под стола Дуняша. Она не знала, как утешить мать.

Настя погладила Дуняшу по голове и повторила слова, которые Дуняша от нее слыхала много раз:

— Эх, девка, девка, доля-то женская тяжела! Иди-ка, доченька, на полати, иди. — А сама словно застыла.

Морозное утро давно глядело в избу. Проснулся отец. Встал, подошел к матери.

— Прости, Настя, меня, непутевого. Это не я, а горе мое мужицкое...

Мать словно очнулась.

— Бог тебе простит, Демьян.

Отец сел возле нее, склонил голову. Его щека подергивалась. Мать перебирала его густые волосы, глядела на него большими посветлевшими глазами и говорила:

— Большая у тебя голова, Демьян Михалыч, много в ней дум, да думы-то девать некуда, вот ты и маешься и мудруешь надо мной.

Отец вздохнул. И так молча сидели они долго, а Дуняша лежала на полатях, вытирала подушкой слезу, а она все катилась да катилась...

* * *

В одно из воскресений мать возилась по хозяйству. Отца в избе не было. Открылась дверь, вошла Секлетиния Сидоровна. Плотная, румяная, она вся дышала морозом.

— Пришла проведать крестника, кума.

Мать показала рукой под стол.

— Вон, гляди!

А Кучерявчик услыхал голос крестной, вылез из-под стола на четвереньках, поднялся и побежал к ней. Секлетиния Сидоровна вздрогнула, закрыла глаза, вздохнула.

— Эх, паренек! Как это тебя нечистая сила исковыряла!

Спохватилась, поглядела на мать:

— Ничего, кума, сравняется до свадьбы.

Достала из кармана кусок сахару, дала Кучерявчику. Он быстро затолкал сахар в рот. Одна щека у него надулась. Он стал еще уродливее.

Секлетиния Сидоровна села за стол, подперла румяную щеку кулаком, спросила:

— А твой-то где?

— В лес пошел за дровами.

— Хороший у тебя мужик, умный, работящий. Одна беда — собой не владеет.

— Э, не знаешь ты, кума, Демьяна моего... Он у меня душевный, такие редко бывают. Только жизнь у него подневольная... Вот он и тащит последнюю копейку в кабак, а ведь у пьяного кулаки чужие...

Сидоровна вся качнулась, красный полушалок сполз на плечи, подбородок отяжелел.

— Эка беда, лишний поклон барину сделать. На то мы и родились, чтобы угождать господам.

— В этом-то и горюшко, — вздохнула Настя. — Демьян мой не таков, кума, совсем иной. Да и дочка растет, как зернышко от колосика. Чистый тятенька — и нрав и повадки. Все норовит в одиночку, вмолчанку. За печь залезет, жмется там сверчком, куклу тряпичную обрядит, положит ее на колени, начнет ей сказки складывать. А сказки как живые.

Секлетиния Сидоровна уже которую чашку допивала, покачивала головой и говорила:

— Эх, кумушка! Это неспроста. Накликали беду на твою избу. Откликать надо, отворожить. К знахарю ступай.

— Нет, кума, не пойду, — рассердилась мать.

— Твое дело, а мой совет. Как знаешь... Вот у меня деток нет — печали нет.

— А без деток-то, — сказала мать, — изба сирота, и углы пусты.

Сидоровна, кряхтя, подняла блюдце на пяти разжиревших пальцах.

— Хорош чаек! — причмокивая, говорила она.

В избу вбежала Дуняша в облезлой дубленой шубенке, в больших материных валенках, в платке.

На ресницах, на лбу, на завитках бахромой лежал молодой снежок.

— Ишь ты, царевна-нищая! — улыбнулась Сидоровна. — Щеки как яблоко красны. Невеста растет красавица. Женишка сыщем богатого да удалого.

Вошел отец, весь в снегу, с вязанкой дров за плечами.

Сбросил вязанку на пол.

— Фу, умаялся! — проговорил он. — В лесу снега по колено. Ну и зимища суровая!..

— Правда, кум, — сказала Секлетиния Сидоровна. — Топишь, топишь, а избу никак не прогреешь.

— У тебя, кума, нова изба-то, бревна плотно лежат, а наша-то гляди какая!..

Он замолчал, снял шапку, положил ее на лавку, присел к столу.

Кучерявчик подбежал к лавке стал стряхивать с шапки снег.

Отец долго глядел на него, а потом на Дуняшу.

— Поди-ка сюда, дочка.

Дуняша подошла, прижалась к нему. Отец гладил ее по голове, ласково глядел ей в глаза.

— Хорошая ты, дочка, растешь. Вот бы грамоте тебя учить, да доля наша с тобой не вышла.

— Ничего, Демьян Михайлович, — вмешалась Секлетиния Сидоровна, — без грамоты проживет.

— Нет, не дело говоришь, кума. Детей учить надобно, а то неграмотный человек, как пень в лесу, на потеху господам. А душа-то наша одинакова — что у тебя, что у барина, только им, господам, свет иной в глаза льется.

Секлетиния Сидоровна перебила:

— На то, батюшка Демьян Михайлович, они и господа. Куда нам тягаться! В их руках золото, серебро...

— Что ж ты, кума, забыла свое сиротство, как вышла замуж за купчика. Деньжищ у него много.

— Да что его богатство? Пятиалтынный — и тот у него не вытянешь.

— Эх, кума, кума! — заговорил отец. — Вот опять в город собираюсь счастья искать. Как устроюсь



в городе, возьму Настю с ребятами, Дуняшку учиться отдадим. Не хочу, чтобы она в темноте росла.

— Так-то оно так, Демьян Михалыч, помоги тебе бог! Известно, в городе бедному легче.

— Да что толковать, кума. Нет легкой работы трудовому люду. Все перебиваются с редьки на квас.

Он вздохнул:

— А деревня наша уж больно худа. Лекаря и того нет...

Он не договорил, поглядел на Дуняшу. Кучерявчик давно уснул, а она все продолжала его баюкать. Подметила Дуняша взгляд отца, покраснела, спряталась за печь и долго не выходила оттуда.

Этот день навсегда запомнился Дуняше.

В избе было светло, чисто. Мать ходила какая-то

другая, статная, и глаза ее, зеленые, продолговатые, улыбались по-особому.

Вечером собрались гости. Мать покрыла стол холщовой скатертью, поставила пыхтящий самовар на черный поднос, заварила морковный чай в пузатом чайнике, вынула из сундука новые чашки с голубыми ободочками.

Все сели за стол, пили чай с сахаром и баранками. Мать на всех глядела и все чему-то улыбалась.

А на полу у печки сидел Кучерявчик. В руках он держал большой отцовский лапоть. Из лаптя выглядывала старая редька с длинной бахромой.

— Ну, ну, пегая, айда, пошел! — понукал он лапоть.

Глаза у матери затуманились, улыбка сошла с ее губ.

Отец поглядел на нее.

— Ничего, Настя, не печалься: мужику красота ни к чему... Это барам красота нужна, а нам бы покрепче руки.

Все насторожились. Любили они слушать Демьяна. А Демьян немного помолчал, тяжелая складка легла на высокий лоб, широкой ладонью провел по густой бороде.

— Что мы для господ? Скот. Земля чья? Господская. Грамоту кому? Детям господским. А мужику что? Один хомут. А? — Он словно всех спрашивал.

Старый Захар слушал Демьяна и кивал головой. Смолоду такие думы ему сердце точили, да и до сих пор точат, а вот высказать — слов не хватает.

Настя тихо подошла к окну, задернула занавеску. «Как бы урядник не подглядел, не подслушал», — подумала она.

— Ничего, — продолжал Демьян, — придет время, когда барин мужику кланяться станет.

Одна Секлетиния Сидоровна словно не слышала его слов, сидела, опухшая от чая, и еле переводила дух. Она оглядела всех:

— У-уф! Совсем, кума, чайком-то меня опоила...

А ты, Демьян Михалыч, порадуй нас, чем пустые слова говорить. Спой, голубчик!

Все отодвинули чашки, стали просить Демьяна спеть.

— Ну что петь-то, сухая ложка рот дерет. Вот бы смочить маленько.

Он поглядел на мать. У нее щеки белехоньки стали.

— Будет те, Михалыч, бабу пужать, — сказал дед Захар. — У тебя ведь душа меры не знает. Как же ей не бояться!..

Отец улыбнулся, поглядел на мать.

— Ну что ты, Настенька, глядишь через слезу? Коль так, быть по-твоему.

Он окинул избу глазами, глубоко вздохнул, расправил плечи и запел сильным, задушевным голосом. Песня росла, ширилась, того и гляди изба развалится. Тесно было отцовскому голосу в избе...

* * *

Прошел год. Когда весеннее солнце раскололо лед на речке, отец сказал:

— Ну что ж, Настенька, под лежачий камень водица не подтекает. Пора в путь-дорогу собираться.

— А ты, Демьян, побудь до заморозков, — просила она.

— Эх, Настя, луга задарма косить этой откормленной свинье! За себя боюсь. Коса звенит, когда барыню вижу. — Он махнул рукой. — Подальше от греха!

Прошло несколько дней.

Отец ходил по избе задумчивый. То он ласкал Кучерявчика, то обнимал Дуняшу.

— Ты чего, Демьян, места себе на находишь — иль случилось что? — спросила его мать.

— Засиделся я, Настенька, пора мне в путь, — тихо сказал он.

Мать как от удара качнулась. Глаза ее налились слезами.

Отец грустно усмехнулся:

— Ну вот, не с песнями думаешь провожать меня, а слезы под ноги стелешь. Эх ты, лебедушка моя, не горюй, не печалься! Не в солдатчину, не на войну гонят. Еще попытаю свое счастье в городе, авось судьба нам с тобой улыбнется. — Он вздохнул. — Эх, Настенька, душа моя томится. Думаешь, легко мне вас оставлять?..

На рассвете Дуняша с полатей видела, как отец надел лапти, полушубок, перекинул связанные сапоги через плечо, взял в руки деревянный сундучок.

Он поглядел на полати, вздохнул.

— Ты уж не тревожь их, Демьян. Пущай до утра в покое спят, — тихо сказала мать.

А Дуняша давно не спала, шептала: «Тятенька, тятенька!..» — а слезть с полатей не смела.

Присели отец с матерью в угол на лавку.

— Ну, в добрый час! — сказал отец, вставая, еще раз поглядел на полати и распахнул дверь.

Долго они стояли у покосившихся ворот. Побуревший платок сполз с Настиной головы. Коса, как будто сплетенная из золотых колосьев, лежала венком на голове. Демьян глядел на нее, освещенную предутренним светом, и не мог наглядеться, словно навек прощался.

— А ты, Настенька, детишек доглядывай и жди весточки. Может, возьму вас в город. Может, деньжат сколочу на лошаденку, избенку починим.

Он помолчал, добавил:

— Мужик без земли, как птица без гнезда — все в полете. Ну ты, Настенька, ежели обидел тебя — не гневайся. Я сам не волен над собой. Душа горит. Прости Христа ради!

— Что ты, Демушка, что ты?! Я не гневаюсь.

Он снял шапку, до земли поклонился ей и так, с непокрытой головой, быстро зашагал по дороге.

Вспомнил он, как впервые девятнадцатилетним парнем шел на заработки. Таким же растрепанным казался лес, таким же туманным был рассвет.

Вот он на заработках — бурлак молодой, сильный, широкоплечий.

Только петля на теле зудит и зудит, все крепче сжимает молодую грудь, да на руках мускулы наливаются. День изо дня одно и то же — до последней полоски заката тянуть смолистую баржу.

Одна радость была — после труда лямку сбросит, расправит плечи, прыгнет в воду, нырнет на дно. А когда выйдет на берег, шагнет, вдавит в песок ногу. А ему кричат:

— Михалыч, как в баньке вымылся, парную принял?

Демьян двинет плечом товарища, улыбнется.

А в дни получки положит Демьян на ладонь медяки, перебирает их:

— Эх, Демушка, силушки в тебе непочатый край! Куда отдашь ее, кому?

Он вздыхал и шел в кабак. В чаду, в угаре люди кричали ему:

— Михалыч, поди сюда! Вот местечко для тебя соблюли. Накось выпей, да спой, голубчик, потешь.

Он выпьет, сядет, вывернет карман. Все медяки высыплет на грязный стол, скажет:

— Вот он, барин, отвалил...

Упрется синими глазами куда-то вдаль, а потом запоет. И тогда вся харчевня притаится, затихнет. Люди сразу трезвеют.

Да, была молодость, а теперь одна больная душа.

* * *

Мать ждала писем. Бывало, от каждого стука бросалась к окну или посылала Дуняшу:

— Поди-ка, кто-то идет — не письмо ли?

Дуняша печально глядела на мать:

— Нет, маменька, это ворота скрипят.

Но вскоре словно зловещий ворон каркнул из темноты: «Война!..» Это слово облетело мир, пришло и в Дуняшкину деревню. В избы стал часто заходить урядник, а в ответ слышалось бабье причитанье, крик и плач детей: уходил кормилец из избы на войну... Пустела деревня, реже вспыхивали в окнах огоньки. Нередко и Настя не зажигала свет, подолгу

сидели с Дуняшей в темноте, горевали. Луна вползала в избу, растягивалась на холодном шестке и рассыпала серебряные паутинки по их бледным лицам.

А вестей от отца все не было и не было... Наконец пришло письмо — серый угольник. Долго мать прижимала его то к сердцу, то к щеке, а потом спохватилась, выбежала из избы и только к вечеру воротилась вся в слезах. Дуняша не спрашивала, что в письме. Она видела по лицу матери, что в сером угольнике пришло большое горе. Мать отяжелела, зеленые продолговатые глаза ее стали узкими, как от болезни, припухли. Она тихо причитала:

— Демушка, как же? Малые детки...

Дуняша узнала, что отца угнали на войну за царя биться.

Наступила страда. Мать работала на барской усадьбе. Уходила на заре и приходила затемно. Дуняша с Кучерявчиком оставались одни.

Хозяйство вела Дуняша. Невелико оно было. Одна кривая яблоня бросала рваную тень на избу, да две курицы и петух Петька.

В иные дни Дуняша забывала свое хозяйство. Вечер заставал ее за любимой игрой. Ее тряпичный краснобокий мяч прыгал на гладкой дорожке по лункам, сбивал казанки.

Дуняша метко била казанки, а Кучерявчик складывал их в свой старый лапоть. Часто ребята забывались в игре так, что и не видели, как скот возвращается с пастбища. Но тут выручал их дед Матвей.

— Эй вы, озорники, глядите! — кричал он. — Когда солнце село, а вы все еще сумерки мячом разбиваете!

Однажды мать взяла Дуняшу с Кучерявчиком на барскую усадьбу, а там от яблок на ветках листьев не видать.

«Как много яблонь у богатых! — подумала Дуняша. — А у нас одна — и та старая, а яблоки мелкие, червивые». Она сорвала два больших красных яблока — себе и Кучерявчику. И тут же почув-

ствовала, что кто-то за спиной стоит. Обернулась — рядом барыня зло глядит. У Дуняши сердце забилось. Обронила она яблоки, а руки под фартук спрятала.

Мать, кланяясь, что-то несвязно говорила барыне, а Дуняша с Кучерявчиком побежали, спрятались за коровником в лопухи.

Кучерявчику скоро надоело сидеть.

— Пойдем, — сказал он, — я на солнце глядеть хочу.

— Не надо, — остановила его Дуняша.

Кучерявчик насупился и стал тереть кулаками глаза.

— Реветь хочешь? — спросила Дуняша.

Он потряс кудрями.

— Хочу. Сказку скажи.

— Ладно, ложись. Только тихо.

Кучерявчик улегся к ней на колени.

— Как серый бычок, — начала Дуняша, — пошел во лесок, набрал малины полную корзину.

Кучерявчик спросил:

— А он съел сам?

— Нет, он угостил корову с теленком да утку с утенком.

— И еще кого-о-о?..

Дуняша замолчала, долго сидела неподвижно, выбирала из кудрей Кучерявчика репья, а сама думала: «Маманька бранить будет — репьев-то сколько у него в голове!»

День шел к концу.

— Дуняша! — громко позвала мать.

Они вылезли из лопухов. Мать охнула:

— А-а-ах ты, воля божья, куда это вас занесло, в самый репейник! Ох, беда, беда!..

Дуняша видела на пыльной шеке матери белую полосу.

«Опять плакала, — подумала она, — вестей нет от тятеньки».

Возвращались в темноте. Мать шла сгорбившись. На плече у нее лежала голова Кучерявчика: он давно уснул, обняв ручонками ее шею. Они прошли

реку, вошли в лес, там было черно, где-то в стороне прокричал филин. Еловые шишки падали с веток. От каждого звука Дуняша вздрагивала, ей было страшно, но она молча шла по тропинке, притопывая босыми ногами. Вскоре лес расступился, вышла луна, в зеленой лощине показалась деревня. Мать словно очнулась.

— Устала, дочка?

— Нет, маманя. — Дуняша не хотела огорчать мать.

Скоро они пришли домой. Мать положила Кучерявчика на кровать.

— Умаялся, ненаглядный, уморился, мой кормилец, — говорила она, вытирая концом платка свое усталое, запыленное лицо.

Поужинали. Мать велела Дуняше помолиться богу. Дуняша встала на колени, прикладывала лоб к холодному полу, но не молилась. Ей хотелось спросить: почему это люди неравно живут — одни богатые, а другие бедные, а бог, говорят, правду любит и почему-то не помогает бедным. Но мать усердно молилась, да и Дуняша боялась: вдруг бог разгневается на нее. Она тихо поднялась с пола, забралась на полати, но заснуть не могла. Перед ее глазами все стояла барыня, толстая, сердитая, с двумя красными яблоками в руках.

Так она и заснула с этими думами. Масляный фитилек в лампаде давно погас, а мать все еще стояла на коленях, шептала молитвы.

* * *

Прошло лето, а за ним и осень. От отца вестей все не было. Мать стала бледная, молчаливая, словно речь потеряла.

Наступили рождественские морозы, а мать все ходила на барскую усадьбу. Одежонка у нее была плохая — шуба со сборами, еще бабушкина, ветхая, вся в заплатках, да старый клетчатый побуревший платок. На ногах лапти да портянки, опутанные веревками.

Под сочельник мать задержалась. Настала ночь, а ее все не было. За окном метелица хлестала старую избу. Кучерявчик тер сонные глаза и спрашивал:

— Где мамынька? Где?

— Сейчас, сейчас придет, — говорила Дуняша с тревогой.

А время шло за полночь. За печкой петух пропел, разбудил Краснушку и Пеструшку. Куры немного поскреблись и стихли. А вьюга все не умолкала, ворочала солому на крыше, гудела в трубе.

...Настя вышла с барской усадьбы уже к полуночи. Снег сразу облепил ее лицо, глаза, а вокруг бело — как холст по равнине растянут. Только слышен скрип под лаптями. Из барского окна падает свет от рождественской елки. Настя крепко прижимает гостинцы к груди: кулечек со старыми елочными игрушками и бесхвостого зайчонка. Она тоже украсит елку ребятам, и так же вот станут падать огоньки из окна на ветхую яблоню. Вот радость детям будет!.. Эх, нет вестей от Демьяна, все однаодинешенька! Жив ли? И конца войны нет.

Настя ускорила шаг. Мороз крепчал, а лес словно провалился. Нет его, и деревушки не видать... Сбористая Настина шуба обледенела, и ноша с барским подарком стала тяжелой.

По сугробам метелица пляшет, пляшет, заметает след...

Впереди ни огонька, ни звона колокольчика, ни живого человека...

А Дуняше снилось, что рыжий Ванька подарил ей деревянный конек. А какой-то совсем незнакомый мальчишка силился его отнять. Дуняша закричала и проснулась. У порога стоял дед Матвей. Он шагнул к столу, чиркнул спичкой. Огонь вспыхнул и тут же погас.

— Дуняша, дай лучину! — крикнул он.

Дуняша глянула на деда Матвея. Он был весь в снегу. На бровях и на бороде висели сосульки.

— Ну, айда! Оденься, — сказал дед, не глядя на нее.



У Дуняши сердце похолодело.

Дед Матвей взял ее за руку, вывел из избы. Уже рассвело. Дуняша увидела — на санях лежит что-то большое, запорошенное снегом. Она вскрикнула и упала.

Очнулась Дуняша в избе. Мать лежала на столе. Две свечки горели у изголовья, потрескивали. Воск слезой скатывался, застывал. Кучерявчик сидел на лавке, глядел одним глазом и часто моргал.

В избе было много народу. Они тихо о чем-то переговаривались. У двери жались ребятишки, глядели с любопытством.

Дуняша бросилась к матери, стала ощупывать глаза, руки — все было холодное.

— Мамынька-а-а!..

От этого крика словно изба развалилась, мужиков сжал мороз, бабы стали вытирать глаза.

Вошел дед Матвей. Большой, неуклюжий, бородатый.

Поглядел на Дуняшу, глубоко вздохнул.

— Что ж, надо попа звать, — обратился он к Захару.

Захар поглядел на Матвея и покачал головой.

— Да не поедет поп-то, ведь замороженная.

— Все же, Захар, ты поезжай. Может, согласится. Возьми мою пегую, а то не ровен час подымется буран. А она и в буран дорогу найдет.

Захар нахлобучил шапку и вышел, тихо прикрыв за собою дверь.

Наступил полдень, а старого Захара все еще не было. Все притихли и ждали. Дед Матвей часто выходил на улицу, вглядывался в даль:

— Буранище-то, как метлой, в глаза хлещет! Как бы пегая дорогу не утеряла!

Захар вернулся весь в снегу, даже бороды не видать. Встал посредине избы, тяжело дыша, ни на кого не глядя.

Подошел к нему дед Матвей.

— Ну?

— Говорил же я, не поедет долгогривый!

Матвей вздохнул:

— Ну, давайте дело делать — гроб сколачивать надо.

Принесли доски. Сколотили гроб. Обмыли мать. Дед Захар все вздыхал:

— Ну, вот и отжила, отмаялась... На вечное поселение идет.

Мать положили в гроб, стали заколачивать крышку большими ржавыми гвоздями.

«Неужели это насовсем?» — думала Дуняша. Она ухватилась за рукав деда Матвея.

— Не дам, — закричала она, — не дам!..

Кучерявчик заплакал.

— Эх вы, бедняги! — тихо сказал кто-то.

Дед Матвей отвернулся, смахнул слезу.

Гроб положили на сани. Посадили Дуняшу на него. Мужики и бабы пошли пешком.

С Кучерявчиком осталась бабка-повитуха. Мальчик долго плакал, звал мать, а потом заснул на лавке у стола.

Бабка прикрыла его материной шубой и все шептала что-то впалыми губами. Сгустились сумерки, она зажгла лучину, на дверном косяке выкоптила черный крест. И все крестилась, крестилась и кланялась во все углы...

А в трубе глухо завывал ветер, гонял морозную пыль по деревне, скрипел старыми воротами.

Дуняша сидела на гробу, шмыгала носом, слезы бежали по щекам. «Маманька, маманька!..» — все повторяла она.

Приехали в лес, на кладбище. Меж высоких сосен стали копать мерзлую землю. Копали долго. Когда могила была готова, гроб опустили на толстых веревках, закидали землей. Вырос новый холмик.

Дуняша притихла: сидела на чужой могиле как застывшая.

— Дуняша! Дуняша! — все звала ее Секлетиния Сидоровна, трясла за плечи, растирала снегом побелевшие щеки. — Что ты, девка? Окаменела?

Дуняша очнулась. Закричала, заплакала.

Чьи-то сильные руки подняли ее, положили бережно на солому в холодные дровни...

Только в избе она пришла в себя. Когда увидела Кучерявчика, вытерла рукавом глаза, нос и сразу старше стала.

Кучерявчик подбежал к ней.

— Где маманька? — спрашивал он и тряс за шубенку.

Дуняша молчала.

Вдруг мальчик улыбнулся, показал ручонкой на стену.

— А мамынькина шуба дома, тут... — и захлопал в ладоши.

Дуняша глядела на Кучерявчика сухими глазами, повторяла:

— Маменька придет, придет...



* * *

Голод заглянул в сиротскую избу. Часто Кучерявчик плакал, просил:

— Дуня, хлеба-а-а...

Дуняша надевала вытертую дубленую шубенку и, сутулясь, как мать, выходила из избы, плотно прикрывала за собой дверь, подпирала ее корягой.

Кучерявчик кричал:

— И я-я с то-о-бо-ой!..

Долго она слышала плач. Сердце у нее сжималось.

Пробиралась Дуняша через огороды, а потом бежала через мост за речку в село Погонаево и там часами стояла на церковной паперти, просила милостыню.

Возвращалась Дуняша домой в темноте, будила спящего братишку, совала ему кусок черного хлеба, размоченного в воде.

Но недоглядела Дуняша за Кучерявчиком: простудился он в нетопленной, холодной избе.

Прошло две недели. Кучерявчику стало совсем худо.

Дуняша побежала за Секлетинией Сидоровной. Та принесла в крынке козьего молока, согрела в печке, стала поить мальчика. Он захлебывался, молоко проливалось на подушку.

Секлетиния Сидоровна послала Дуняшу за бабкой-повитухой.

Старуха пришла, взяла кружку воды, насыпала в нее углей, помешала и что-то все шептала беззубым ртом. Впалые щеки ее двигались, седые космы торчали из-под платка, как свалянная пакля. Она подошла к больному, побрызгала на него водой, пошептала.

А к утру Кучерявчик умер. Он лежал на лавке в углу худой, длинный, а лицо было синее, изъеденное оспой, только волосы по-прежнему закручивались, как шерстяная нитка.

...Дуняша осталась совсем одна. Днем приходили соседи, приносили хлеба. Секлетиния Сидоровна часто навещала, топила печь. А ночью страшно было в избе. Как смеркнется, Дуняша зажжет свет, тени запляшут по стенам, а ей кажется — смерть стережет ее. Она вся похолодеет, заберется на печку, ляжет на материну шубу, укроется с головой, крепко зажмурится и лежит, пока не заснет.

От отца не было весточки, но думы о нем не оставляли Дуняшу. Она все ждала, говорила своей подружке хроменькой Параньке, круглой сироте:

— Скоро приедет тятенька с войны, в город поеду, грамоте буду учиться.

А Паранька вздыхала, завидовала: у нее в начале четырнадцатого года отца тоже взяли на войну, и вскоре он был убит.

Но недолго тешили Дуняшу мечты и надежды. Как-то в избу вошел дед Матвей с большим серым конвертом в руке. Дуняша закричала:

— От тятеньки? От тятеньки?..

Дед молча обивал о порог валенки, стряхивал снег, а потом долго сморкался, расчесывал бороду, сдвигал на затылок баранью шапку.

Дуняша затаила дыхание, все ждала, а он медлил, медлил...

Глаза его не глядели в сторону Дуняши, а смотрели в передний угол, выше икон. Дед Матвей вздохнул:

— Да что читать-то! Убит твой тятенька...

Дуняша не заплакала, не закричала, она только попятилась к окну и замахала руками.

— Что ты, дедушка! Что ты!..

А потом синие глаза ее расширились, стали большие и словно застыли. Слез не было в этих детских глазах, только одна недоплаканная слеза повисла на реснице, дрогнули губы, и Дуняша зашептала:

— Нет, тятенька жив, жив!..

Вскоре в избу пришли соседи.

Дед читал и читал по складам, запинался, откашливался и опять читал.

Дуняша сидела за печкой, закрывала уши ладонями, но ладони все же пропускали эти страшные слова: убит, убит!..

* * *

Был морозный ясный день. Дуняша сидела у окна. Она отогрела дыханием круглый просвет на стекле и одним глазом глядела на улицу, а потом прикладывала тряпичную куклу Акулишку к просвету и шептала:

— Гляди, Акулишка, все видать.

Дети катались с горы на санках. Они опрокидывались в сугроб, громко смеялись.



Долго глядела Дуняша. Хотелось самой выбежать на улицу, показаться, но она боялась: еще мальчишки дразнить попрошайкой станут.

Вдруг ребята присмирели, сбились в кучу и стали глядеть на дорогу.

К Дуняшкиной избе подъехали сани. Из саней вывалилась барская экономка, укутанная в тулуп, и вперевалку направилась к двери. Она вошла в избу, перекрестилась на образа, потом, повернувшись к Дуняше, сказала:

— Живо одевайся — барыня тебе милость оказывает, желает тебя в няньки взять.

Дуняша растерялась, она заговорила заикаясь:

— А... тетенька, как же Акулишку?..

— Чево? Какая такая Акулишка? — Она развела руками, поглядела на Дуняшу строго, вопросительно.

Девочка совсем оробела, еле-еле промолвила:

— Это кукла, тетенька, Акулишка...

— Ишь что вздумала! Не барское дитя — в куклы играть. Живо одевайся!

Дуняша молча попрощалась со своей Акулишкой, поцеловала ее размалеванные щеки. Лицо экономки подобрело. Перед ней встало ее детство — такое же сиротское.

— Ну, ладно, возьми свою Акулишку. — И добавила: — Да неси так, чтобы барыня недоглядела.

Но Дуняша как бы и не слышала ее. Она молча оделась, не поднимая глаз, глядя в пол.

В этот день Дуняша простилась с детством. Привезли ее в барский дом. Ввели в комнату. А вокруг мягкий бархат, цветы, картины... Барыня лежала на широком диване, голова ее покоилась на подушке, расшитой красными тюльпанами. Она молча оглядела девочку.

— Как тебя звать? — спросила барыня.

— Меня-то? Дуняша.

— Так вот что, Дуняша, ты должна за моей собачкой глядеть, чтобы она не простужалась, да комнаты убирать. Да смотри, чтобы все блестело.

Дуняша кивала головой, а ноги ее дрожали.

А белая собачка заливалась тонким-тонким лаем...

* * *

И стала Дуняша жить в барском доме. Работы было много. День-деньской на побегушках.

Как-то Дуняшу послали за вареньем в кладовую, и Белянка побежала за ней. Дуняша увидела большой старый шкаф с книгами, весь в пыли. Взяла книгу, открыла ее. Она знала, что буквы могут рассказать ей много-много. Но буквы молчали. Она вспомнила мать, письмо отца. Задумалась, забыла, за чем пришла, и тут ее окликнула экономка.

— Ишь ты, как приказанье исполняешь! Гляди, идол-то твой весь измазался!

Из-под шкафа выглядывала Белянка в наморднике из паутины. Она мотала головой, фыркала.

— Иди быстренько, вымой ее, чтобы барыня не видела!

С тех пор Дуняша часто вспоминала рассказы отца о городе, где дети учатся в школах, книжки читают.

Скоро у Дуняши с Белянкой крепкая дружба завелась. Собачка была потешная, до половины выстриженная, с красным бантом на шее. А задира была какая! Как увидит чужую собаку, вся ощетинится, по земле лапами зацарапает, бантом затрясет. Задумается, бывало, Дуняша, глядит сама не зная куда. А Белянка любила играть, подбежит и дернет ее за платье. Дуняша вздрогнет и приходит в себя. Не раз собачка выручала так девочку от брани.

Тяжело жилось Дуняше в барском доме. Барыня властная, злая, и рука у нее была тяжелая. Не раз Дуняшиной косе доставалось. Бывало, Дуняша натягивает барыне чулки, а руки-то малы, не справляются.

— Что, разиня, пуговки не видишь? — свирепеет барыня. — Еле-еле ворочаешься, ишь, как принцесса какая! Спина у тебя как деревянная, головы не сгибаешь. Вся в отца! — А глаза у барыни маленькие, как щелочки, злые.

И только когда барыня засыпала в кресле и в комнате раздавался свистящий храп, Дуняше становилось легче. Но уходить она боялась. А попугай с зеленым пятнышком на белом лбу косил глаз и так же, как барыня, кричал:

— Дунь-няшка... а... а! Дунь-няшка... а... а!

Так в тяжелом труде и обидах проходили дни, недели. Дуняша делалась все молчаливее, старалась быть исполнительной, чтобы обида меньше касалась ее сердца.

К полуночи она возвращалась в свою комнату, где пахло мышами, ложилась на узкую деревянную раскладушку, натягивала на себя лоскутное материнское одеяло, — ее обдавало запахом родной избы.

До рассвета Дуняша вскакивала с постели, зажигала ночничок. Надо было натаскать воды.

Она торопливо надевает шубенку, накидывает материн побуревший платок, берет коромысло и тяжелые деревянные ведра, окованные обручами.

Выйдет — стужа набросится на нее, сожмет тело. Еле она дух переводит.

А прорубь за ночь замерзнет. Станет Дуняша разбивать прорубь топором. Льдинки летят, в лицо бьют. А кругом все еще тихо, никого не слышно: ни скрипа полозьев, ни ржанья лошадей. Медленно бредет Дуняша обратно с тяжелой ношей. Глубокие следы от ее валенок бегут за ней. А слова отцовские рядом: «Неграмотный-то человек, как пень в лесу...»

Тосковала Дуняша, хотелось быть ей иной — сильной, грамотной, но как грамоте научиться — не знала.

* * *

Был на усадьбе садовник дедушка Еремей — старенький, как мочалка, сморщенный.

Две пары очков носил: одни белые с черными обручами, а другие, на лбу, у него какие-то особенные — от солнца.

С книжкой он никогда не расставался. Сажает он цветы в клумбы да все в книжку поглядывает.

Однажды гуляла Дуняша по саду с Белянкой, подошла к деду Еремею, а дыхание сперло и слова вымолвить не может.

Дед поглядел на Дуняшу через очки и спросил:

— Ты чего, девка?

А у Дуняши язык отнялся.

Улыбнулся дед Еремей.

— Хватит робеть-то, не съем, говори скорей!

Она, заикаясь, вымолвила:

— Я хотела бы грамоте учиться. Да не знаю как.

— А какой год-то тебе?

— Тринадцатый...

Старик нахмурил брови, отвернулся, пробурчал:

— Эх, сирота, сирота! Думы далеко, а горе рядом.

Слова Дуняши разбередили сердце старика. Он



сам рос сиротой в этой же усадьбе, тут и состарился, грамоте сам обучился, к садоводству приспособился. Его цветы на всю округу славились. Все господа приезжали на усадьбу, интересовались, как он их выхаживает.

Когда Дуняша ушла с Белянкой из сада, дед Еремей положил книжку в карман, снял очки, протер тряпицей и, сутулясь, пошел к барскому чердаку. Долго он там копошился в старых, растрепанных книгах. А на другой день принес букварь, грязный, засаленный, и стал учить Дуняшу грамоте.

Скоро Дуняша выучила на память все буквы. А когда она сразу, без запинки прочитала одно длинное слово — от радости заплакала.

Как ночь подойдет, господа улягутся и Белянка задремлет на своем коврике, уйдет Дуняша в свою каморку и читает до зари.

Дедушка Еремей радовался.

— Эх, дитятко, толковая ты да разумная, — говорил он. — Вот бы тебе учиться, как барским детям.

Вздохнет глубоко, возьмет с земли большие, черные, покрытые ржавчиной ножницы и начнет стричь сухие ветки.

А Белянка отскочит, ощетинится, бантом затрясет — страх как боялась ножниц!

Зима настала, наступили долгие ночи. И Дуняша радовалась: господа ложились рано и просыпались поздно. Как-то ночью Дуняша услыхала стук в дверь, открыла — глядит: барыня...

Не успела Дуняша опомниться, как барыня схватила ее за косу.

— Грамоту изучать задумала! Керосина моего не жалеешь!

Вырвалась Дуняша из ее рук, прижалась к стене.

Хозяйка со всего размаха ударила девочку по лицу... У Дуняши в глазах помутилось... Схватила она старый материн платок, выскочила на лестницу, отодвинула засов и выбежала на улицу. Было темно. От фонаря падала белая полоса на скрипучую снежную дорогу, которая уходила в ночь Но Дуняша ничего не видела — она все бежала и бежала...

Платок сполз с головы. Хлопья снега падали за ворот, ползли по телу. Стужа накладывала белые пятаки на щеки.

Дорога пряталась под сугробы. Лес надвинулся, конца ему не видать. Вдруг перед ней встали кладбищенские кресты. У Дуняши страх глаза застеклил. Прижалась к старой сосне и, словно неживая, застыла. А в лесу метелица выла, ломала сучья. Снег кружился, засыпая Дуняшу.

Она закричала — лес аукнул.

Близко заскрипела дверь. Вышел тулуп без головы.

Живые большие валенки оставляли глубокий след на снегу. Тулуп остановился. Из него показалась седая голова, пробурчала:

— Эко чудо! Думал зверь в капкан угодил, а тут, накось, — человек!..

Дуняша очнулась только в избе.

Горела лампа без стекла. Было душно, пахло овчиной. Над ней склонилось сухое старое лицо. Глаза глядели мутно, будто через лед.

— С неба свалилась или с воза обронили в стужу такую? — качал головой старик.

Дуняша не открывала глаз, металась на горячей подушке. А он все подносил ей малинового чая, говорил:

— Накось, голубка, испей!

Подолгу сидел дед, не шевелясь, у деревянной кровати. Миновало много дней, а Дуняша все не выздоравливала, лежала неподвижно, без кровинки. Старику казалось, что она мертвая, но на висках еще бились синенькие жилки. Старик, сутулясь, подбрасывал хворост в печку, шептал:

— Как огонек тлеет...

В печке горели дрова, от огня бегала тень по стене, бревна считала, упала на запекшиеся губы Дуняши.

Тяжелые веки затрепетали. Она прошептала:

— Пить! — И еще тише повторила: — Пить...

Старик поднес воды.

— Ишь, как глаза залегли!

Слеза покатилась по щеке, спряталась в старый тулуп..

Рассвет забрезжил, в окно заглянул. Черный таракан хозяином выполз на стол, да и сверчок под печкой петь перестал. Стало тихо, словно живых не было в избе.

* * *

Солнце растопило снег, земля облысела, озимь просилась на волю. Дуняшу тянуло к свету, к людям. Она все звала деда в город.

А он говорил:

— Что торопишься? Успеешь еще отведать калачей полынных! Город-то далече, два дня ходу.

Но она просила и просила:

— Пойдем, деда, в город, там все грамоте обучаются.

Который раз эти слова старик слышал от девочки.

Наступил день, когда они собрались в город. Путь лежал через Дуняшину деревню. Вот и ее изба, кособокая, с забитыми ставнями... На крыше из-под прелой соломы выглядывает красный мак, на скрипучих воротах сидит воробей и стучит клювиком. Подбежала она к избе и сразу отскочила. Из двери торчали кривые загнутые гвозди, как на гробу у матери.

В слезах вывел ее дед на улицу.

— Ну, пойдем, девка, что притихла? — говорил он. — Веселей шагай да выше ноги-то поднимай, а то земля за тебя цепляется.

Скоро они миновали деревню и вышли в поле. Переливалась примятая зноем усталая рожь. В стороне женщины размашисто жали серпами овес с лебедой.

Дед шел вперевалку, часто останавливался, подолгу стоял не шевелясь, как высохшее дерево.

У копны на припеке лежал белобрысый мальчик и без слез плакал. Рядом валялась жвачка из черного хлеба. Две зеленые мухи сидели на ней. Спугнутые, они, жужжа, поднялись. Дуняша взяла ребенка на руки, стала его баюкать, а он еще сильнее закричал.

Прибежала молодая баба в холщовой рубахе. Глянула сквозь запыленные ресницы, сказала:

— Эх, горюшко мое! Связал ты рученьки, — а сама крепко прижимала к себе дитя, целовала, потом дала грудь.

Ребенок жадно втянул сосок, сладко причмокивая, оттопыривая нижнюю губу.

Подошел дед.

— Бог в помощь, солдатка! Парнишка-то отрывает от работы!

Баба засуетилась, положила ребенка на полосатую пеленку, взяла с земли жвачку, вытерла

грязной, корявой рукой, сунула ребенку в рот и побежала в сторону оврага, за которым виднелась усадьба.

Дед поглядел на ребенка:

— Эх, горе-горькое! Под ветерком да под солнцем вырастет и так же, как мать, ссутулится. Станет спину гнуть на барской усадьбе аль на войну заберут, как отца. Ну, пойдем, — сказал он Дуняше.

Дуняша шла, спотыкаясь, все оглядываясь на мальчонку. Скоро его не стало видно за бугром.

— Дедушка, а зачем война? — спросила Дуняша.

— Молода еще, не разумеешь. Зачем, зачем! Известно зачем. Землишка нужна чужеземным господам да наша мужицкая сила... — Он покачал головой, добавил: — Да и нашему царю прибыльно и купцам. — Вон намедни монах заходил, сказывал, что молодая государыня не в черед раненым немцам лекаря засылает, сама обходит палаты, чтобы их никто не обидел. — Он сердито отшвырнул подвернувшийся под ногу камень.

Дуняша не унималась:

— Дедушка, а зачем государыня лекаря засылает немцам?

— Ах ты, вольный свет, любопытна не по годам. Ведь родом она из немцев, сказывают — значит, крови одной. Да, — протянул старик, — дела пошли — конца войне не видать...

Дуняша обрадовалась, что дед с нею как с большой разговаривает.

— Скажи, деда, а почему всем бедным надо на войну идти?

— Зачем всем? — говорит дед. — Нет, не всем... Юродивых не берут.

Дуняша руками всплеснула.

— Берут... Вон на усадьбе у кухарки внук — юродивый. Взяли. Сам урядник приходил, только к господам в горницу не вошел, а у них два сына, один-то большой, выше тебя, деда. Ученые... Пуговки на пиджаках светлые, блестят, как в зеркале видно!

— Э-эх! — крякнул дед. — И до чего же, девка, памятью удалась! Ну-ка, давай шаг прибавим, а то

черная ночь дорогу загородит, не доберемся старый да малый.

Скоро они вошли в село Паршино, постучались в первую ветхую избенку. Им отворила дверь ещё молодая женщина с болезненным лицом, потухшими желтыми глазами.

В избе уже лежали сумерки. В переднем углу теплился огонек в лампаде, прыгал по иконам.

— Ну, что ж, переночуйте, — сказала хозяйка и полезла на печь.

— Ты что, хворая? — спросил дед.

— Душа у меня хворая, вынута. Война проглотила мужа Ивана и сына Степашу. Вот я и засветло ложусь спать, не зажигаю огонька. Заснешь, и в душе боль малость утихает и голодному брюху не так маятно. Смерти бы! А она нейдет.

— Что ты, молодуха, еще жить да жить тебе!

Старик достал из котомки кусок черного хлеба, отварную картошку, кусок зайчатины.

— Накось поешь.

С печи протянулась костлявая рука.

«Война, — думал дед. — Вот она, война-то... Живьем хоронит!»

Из села они вышли рано в широкое поле. За ним расстилались зеленые нескошенные луга. Ветерок прижимал молодые травы, а впереди тучей чернел лес.

К городу подошли только к закату. На окраине стояли вразбивку деревянные домишки. Среди них были кое-где двухэтажные, с заплатками на стеклах. У палисадников играли ребятишки, босые, бледнолицые.

Дуняше это напомнило родную деревню.

— Это разве город, дедушка? — спросила она.

Дед улыбнулся:

— А ты что думала: город — это малина? — Он вздохнул. — Эх, век бы его и не видеть!

Шли долго по грязным переулкам. Дуняша молча, с трудом тащила ноги.

— Что, внучка, задумалась, умаялась, поди? Вот пристрою тебя в услужение, при деле и будешь.

— Зачем в услужение? Я хочу учиться.

Дед сдвинул седые брови, ничего не сказал.

* * *

С трудом они нашли ночлежный дом.

Дуняше не спалось всю ночь. Стоило закрыть глаза, как перед ней вставали кошмары, и она вскакивала. Еле дождалась Дуняша рассвета.

На полу, в грязи, лежал парень с подбитым глазом. Девочка со спутанными волосами, облокотясь на стол, вздрагивала в дремоте.

Дед, кряхтя, поднялся, заторопил.

— Пойдем, Дуняша, пойдем отсюда скорее!

Они вышли на улицу. Дул свежий ветер. Вокруг поднимались большие, красивые дома. Дуняша таких никогда не видела. Окна были еще закрыты ставнями. Дворники подметали улицу.

У красного дома остановился рысак с тонкими ногами. В экипаже сидел офицер с сигарой в зубах. Дед снял картуз, низко, до земли, поклонился. Офицер даже не взглянул на старика.

— Куда мы идем, дедушка? — спросила Дуняша.

— А ты знай иди, — ответил сердито дед. Помолчав, добавил: — В монастырь. Там у меня просвирня знакомая есть. Может, словечко замолвит за тебя перед матерью-игуменьей.

Дуняша вся съежилась, стихла и больше ни о чем не спрашивала.

Где-то далеко раздался звон барабана, послышалась нестройная солдатская песня:

Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жены?
Наши жены — ружья заряжены,
Вот где наши жены...

Из-за угла вышли солдаты, закопченные, грязные. И Дуняше показалось, что у них у всех были одинаковые лица: измученные, костлявые, с впалыми глазами...

Дед вздохнул, покачал головой.

— Помыть бы солдатиков перед смертью, — сказал он вслух.

Дуняша вскинула на него глаза.

— Ой, дедушка, они идут на войну?

— На войну! Куда же?! — дед сурово сдвинул брови.

Впереди солдат шел молодой офицер. Звеня шпорами, он кричал:

— Шевелись, шевелись!

Давно стих топот сапог, а у Дуняши все еще в ушах звенело: «Шевелись, шевелись!..»

«Вот и тятеньку так же гнали», — с грустью подумала Дуняша. Она наклонилась, сорвала былинку, смахнула со щеки слезу. Старик сделал вид, что ничего не заметил. Миновали город, вышли на широкую луговину. Снял дед картуз, вытер рукавом морщинистое лицо и словно хлебнул воздух.

— Эх, дух какой — сам лекарь!.. А ты чего примолкла? Гляди — луга-то в синих серьгах. Вон и тюльпаны. Венок бы сплела. Аль не умеешь?

Дуняша молчала. Дед давно к ней пригляделся, полюбил как родную и теперь жалко было расставаться.

Вдали из-за зеленого леса вынырнули золотые купола, они словно лежали на кудлатых макушках леса. Но чем ближе Дуняша с дедом подходили, тем дальше отодвигался лес, а вырастал другой, маленький лесок, да в стороне, как стеклянная дорога, тянулась река. Скоро показался монастырь. Он стоял у самой реки. С высокой колокольни гудели колокола: «Бум, бум!..»

Нищие спешили на паперть занять свои места, получить кусок просфоры или копейку.

Дед оставил Дуняшу у входа в церковь.

В небе уже играло солнце. Из травы на Дуняшу глядел одуванчик. Хорошо как! Она загляделась и не заметила, как подошли к ней, тронули за плечи. Рядом стоял дед с высокой худой старухой в черном. Она оглядела Дуняшу злыми кошачьими глазами и заскрипела:

— Свят господь, свят! Ты что стоишь, отроко, и не поклонишься? К обычаям нашим монастырским надо привыкать.



Дед положил корявую руку Дуняше на плечо:

— Слушайся, внученька! Исполняй что прикажут, будь покорной. — Он смахнул слезу.

— Не обессудь, мать Федора. Да сироту не забудь. — Дед поклонился до земли и пошел без картуза, горбясь.

Дуняше так хотелось броситься за стариком, но монашенка строго сказала:

— Пойдем. Обрядить тебя надобно.

Дуняша не знала, что значит обрядить, но покорно последовала за нею. Шли вдоль высокого желтого забора. Подошли к большим воротам. Мать Федора постучалась.

— Во имя отца и сына и святого духа!

Низкий голос ответил:

— Аминь!

Со скрипом раскрылось окошко, высунулось широкое добродушное девичье лицо. И тут же лязгнула

калитка на несмазанных петлях. Смуглая девушка с подоткнутым подолом оглядела Дуняшу и с любопытством спросила:

— Это что, новая будет?

— А ты не спрашивай, поди-ка помой ее в бане да обряди, а то матери-игуменье показать такую стыдно... — И добавила ласково: — Ты, Глашенька, не забудь мне поставить парного молочка на ночь, да ей голову вычеши.

Глаша затопала тяжелыми сапогами по мягкой дорожке, усыпанной желтым песком. Вдоль забора тянулись кельи с узенькими окошками, опутанными хмелем.

Пришли на птичий двор. Навстречу бежали куры.

— Ишь какие, больно рано есть захотели! — крикнула Глаша.

Подбежал большой гусь, вытянул шею дугой, щипнул Дуняшу за ногу. Было больно ей до слез, а Глаша смеялась:

— Что рот разинула? Он у нас такой — все исподтишка, как мать Федора.

В бане Глаша торопила Дуняшу:

— Быстрехонько мойся, а то день субботний, люди приезжают. Ну, значит, в гости к игуменье. — Она махнула рукой. — Да что попусту слова терять! Торопись!

Когда вышли из бани, Глаша сказала:

— Ну, а теперь пойдем к Федоре. Только не пугайся.

Дуняша вошла в темную келью — и сразу ей дух захватило. Девочке показалось, что она попала в домик к бабе-яге. Дуняша боялась пошевелиться.

— Что остолбенела?

Дуняша очнулась; перед ней стояла мать Федора и трясла ее за плечо.

— Молитвы знаешь?

— Не крепко знаю.

— Ну и ну!.. — Она даже поперхнулась. Надела очки, стала разглядывать Дуняшу со всех сторон. — Я, видно, ослышалась, раба божия.

Дуняша молчала.

— Как же ты будешь служить матушке? А грамоту знаешь?

— По складам умею.

Мать Федора подошла к полке, взяла книгу.

— На, учи! А ты, Глаша, поглядывай за ней.

Дуняша учила молитвы. Трудно ей было, слова не запоминались. Мысли бежали далеко — в лес, к деду...

* * *

Спустя много дней повели Дуняшу к игуменье. Она робко вошла в большую чистую келью. Половину ее занимал иконостас. Хмель заглядывал через монастырское решетчатое окно. В переднем углу в полумраке вздрагивали огоньки в двух лампадах. Пахло ладаном.

Игуменья сидела вся в черном, словно чугунная. Широкие рукава лежали на коленях. На груди висел большой золотой крест. Лицо у нее было, как на иконе. Глаза большие, темные. «Красивая какая, а как неживая», — подумала Дуняша.

В келье было много монашек. Мать Федора подтолкнула Дуняшу поближе.

Рукав игуменьи зашевелился, белая рука с длинными пальцами взялась за крест. Монашки подходили одна за другой, прикладывались сначала к кресту, а потом к ее руке.

Но Дуняша не двигалась с места.

В глазах у игуменьи огоньки вспыхнули.

— А ну-ка, дитя, подойди под благословение, не робей!

Дуняша словно приросла к полу.

— А молитвы ты знаешь? — спросила игуменья.

Дуняша со страхом вымолвила:

— Я... я знаю...

Быстро заговорила: «Отче наш...», «Богородица...»

— Хватит! — строго сказала игуменья. — Молитвы раба божья Евдокия не знает. — Она посмотрела на мать Федору: — Поручаю тебе. Ты в ответе будешь.

У ключницы брови задергались. Она вытолкнула Дуняшу в дверь, зашипела:

— Ну и олух, прости господи!

Дуняша чуть не упала. К ней подошла Глаша.

— Ты что молитвы не учишь?

Дуняша вздохнула:

— Молитвам меня мать учила, да память плохая на них. — И добавила тихо: — А я думала: в городе не так будет.

— А как ты думала?

— Думала: в школе учиться буду.

— Ишь ты, чего захотела! — А сама отвернулась и, будто прислушиваясь к тишине, не глядя на Дуняшу, сказала: — В людях воля не своя. А ты выучи молитвы, выучи...

* * *

Потекли дни в работе да в тяжелых думах. Бывало, еще ночь не уйдет, а Глаша уже будит Дуняшу. До звона колокола Дуняша подметет в саду дорожки, посыплет желтым песком, банки с цветами переставит, листья оботрет; воды натаскает, трапезную вымоет, половики вытрясет.

А сестре Федоре все не так да не эдак.

Однажды вечером после сильного дождя Дуняша окапывала в саду куст роз. Подошла к ней мать Федора; не глядя на нее, сказала:

— Ну-ка, зайди!

Оробевшая Дуняша вошла в келью.

— Молитвы выучила? — спросила Федора. — Говори. Да встань лицом к лику господнему, нехристь!

А Дуняша глядит на мать Федору не моргая, со страха все молитвы забыла.

— Что уставилась? Говори! — закричала Федора. — В молельню тебя! В молельню! Может, там память соберешь! — Она схватила Дуняшу за руку и вытащила из кельи.

Вошли в церковь. Мать Федора отворила маленькую дверцу молельни и втолкнула туда Дуняшу.

Она шагнула на грязную лесенку. Ударило запа-

хом плесени. И сразу вспомнился ночлежный дом, парень с подбитым глазом, лежащий в грязи на полу, девочка с каменным лицом. Келья была круглая, как колодец, липкая, вонючая. Сбоку в отдушину падал свет, пыльным столбом разрывая темноту. На столе лежала тонкая книга с выбитым на темной корке крестом. Она двигалась словно живая. Дуняша попятилась, глаза ее следили, не отрываясь, за книгой. Неожиданно показались рога навозного жука. Он тоже глядел на Дуняшу, как будто смеялся над ее испугом. Она взяла жука, погладила по лаковой спинке. Жук сердито уперся в ладонь мохнатыми колючими ножками. Вдруг спинка его раскололась, показались седые крылышки, жук взлетел, несколько раз ударился о стенку, упал на солому.

Дуняша осталась одна. Ей стало еще страшней. Долго стояла она, не шевелясь, в черной сырой тьме...

Монастырские часы протяжно пробили полночь, разбудили тишину.

Под ногами зашуршала солома.

Показалась крысиная голова с горящими глазами. Дуняша омертвела. Ноги у нее подломились. Она упала на гнилую солому.

До утра пролежала Дуняша с открытыми глазами. Монастырь спал, только небо заглядывало в отдушину, как в колодец. А когда занялась заря, вошла Глаша.

— А я и не знала, что тебя смирению учат. Нешто трудно тебе лоб окрестить да молитвы запомнить?

Дуняша молчала.

Глаша заглянула ей в глаза:

— Ты выучи молитвы-то для них, поняла?

Она протянула ей ломоть хлеба, бутылку молока, сказала:

— Хлебные крошки не оставляй, а то как бы Ворона не увидела.

Дуняша уже знала, что так зовут мать Федору.

На другое утро, с рожком пастуха, опять прибежала Глаша.



— Ну, быстро собирайся! Выпросила тебя. За грибами пойдем.

Они вышли на вольный ветер. От слабости Дуняша качнулась.

— Крепче держись на ногах, девка, — весело сказала Глаша. — Гляди! — она понизила голос и подмигнула карим глазом.

Впереди шла игуменья, высокая, постукивала посохом. За нею ковыляла толстая просвирня.

Вышли через садовую калитку. Около церкви корчился на земле нищий — мальчик лет семи. Живот у него был раздут, голова запрокинута. В широко открытых глазах были видны одни белки.

Игуменья остановилась, сказала:

— Ковш воды принесите.

Когда принесли воду, она смочила крест, побрызгала мальчика.

Больной ловил запекшимися губами капли воды.

Игуменья взошла на белые ступени церкви.

Нищая старуха протянула руки. Пряди волос ее падали жидким седым льном на мертвые щеки, губы тихо шептали:

— Подай Христа ради, матушка!

Красивое лицо игуменьи оледенело. Она подняла широкий рукав, осенила лицо и грудь крестом.

Дуняша в стороне стояла, глядела на мальчика, а слеза за слезой катились по щекам.

Из церкви вышла Глаша. Прервала ее мысли.

— Ты что, одеревенела?

Дуняша показала на больного.

— Святой водой его кропила игуменья.

— Эко чудо! — сказала Глаша. — Все одно помрет, отощал ишь, а лицо-то как студень! Святая вода голодному брюху не лекарь.

Она вздохнула и тихо добавила:

— Ну-ка, Дуняша, давай перенесем его вон туда, за зеленую ограду, в кусты... Мух там меньше, не так маятно ему будет... Да молочка ему принеси, и у меня в келье под подушкой просфору возьми, накорми.

Когда Дуняша вернулась, мальчик уже лежал не двигаясь. Живот у него стал еще больше, а руки и ноги раскинулись в стороны, как прутья, — тонкие, морщинистые, сухие.

Из Дуняшиной руки выпала просфора, покатилась и улеглась в зеленой траве белым грибком. Дуняша вспомнила Кучерявчика, мать...

Подошла Глаша.

— Ну, отмаялся. Все проклятая война! — Она часто заморгала, поправила на голове платок. — Иди, Дуняша, в церковь, а то разгневаешь игуменью.

Уже шло богослужение. Монашки пели на клиросе. Дуняша вошла в церковь, упала на колени.

Она увидела черный глаз игуменьи. Он был строгий, не моргающий...

— Ух, иродово дитя! — прошептала мать Федора ей на ухо. — Крестишься-то как, того и гляди матушка позовет! Память твоя где?

Дуняша чаще стала креститься. Ей казалось, что мать Федора опять протягивает костлявые пальцы и вталкивает ее в молельню, где бегают страшные крысы. Дуняша закрыла глаза, а сама все крестилась, кланялась до земли, прикладывая голову к холодному полу. Давно сторож потушил свечи, прикрыл тяжелую дверь церкви, а Дуняша, как застывшая, стояла на коленях.

Кто-то неожиданно засмеялся рядом. Дуняша вздрогнула — перед ней стояла Глаша.

— Ай, уморила ты меня, раба божья. Грех замаливаешь, голубка, что ли? Все уже дома за трапезой, а ты?

Глаша заторопила ее:

— Ну, идем за грибами. Игуменья велела. А мать Федора сильно гневается на тебя. Хорошо, что грибы понадобились, а то бы не миновать еще молельни.

Дуняша покорно поднялась, пошла за Глашей.

Миновали монастырскую ограду, вышли на зеленую поляну. Пересекли овраг и перелесок. Подошли к дремучему густому бору. Солнце скользило по веткам. Пахло медом и грибами.

— Вот мы и в грибном царстве, — сказала Глаша. — Смотри, далеко не уходи. Лес-то кругом одинаков, троп много — заблудишься! Почаще аукай да и на солнышко поглядывай, где оно.

Грибов было много. У Глаши корзина быстро наполнилась. Она зааукала. Дуняша вышла из кустов. Увидела Глашину полную корзину.

— К тебе, Глаша, сам гриб бежит, а у меня только на дне.

— На все надобно смекалку иметь. Вон, гляди — мох-то под елкой, напыжился, как клуша, тут, знай, белоногий выпирает.

Дуняша отвернула мох, всплеснула руками:

— Ой, Глаша!

— Вот тебе и ой! Ишь, сколько!

А солнце уже поднялось высоко над лесом. Слышен был стук топора, прокричала птица. Глаша выпрямилась, поглядела по сторонам, сказала:

— Уже солнце высоко. Нам пора!

— А я как же? — Дуняша поглядела на свою корзину.

— Плохо ищешь гриб,— сердито сказала Глаша.— На мою корзину.

— А что ж, Глаша, Ворона скажет?

— Что Ворона! Знай бери. Скажу ей, что гриб не встрелся.

У Дуняши меж бровями легла упрямая складка.

— Тошно мне! Все одно здесь не уживусь, убегу к деду в лес.

— А ты не дури. У деда тоже не мед.

Она помолчала, добавила:

— Привыкнешь к подзатыльникам и окрикам. Вначале трудновато всем, а потом свыкнешься, обживешься!

Глаша села на пенек, подперла смуглую щеку кулаком.

— Вот я не в сиротстве росла, а радости с малолетства не видела. Тятенька-то крутой был. Часто пьяный приходил, выгонял всех из избы в трескучий мороз. Брат тайком от отца приходскую школу осилил. А потом в город ушел. Шестнадцать годов ему еще не было. Отец как узнал — сильно бранился. «В бедности, — говорил он, — грамота один вред». Вскоре и я ушла из родительского дома, сама в этот монастырь напросилась. Думала, лучше будет, чем дома, но и здесь хомут. Седьмой год мытарю себя, но ничего, голову не опускаю. — Она улыбнулась. Ее скуластое лицо расширилось. Блеснули белые зубы.

Глаша скинула косынку. Две толстые косы упали на спину. Она тряхнула плечом, запела:

Эх, солома, ты солома,
Аржаная, белая!
Ах, скажи-ка, ты, солома,
Как в полюшке выросла...

А маленькая ее нога проворно притопывала, приминала траву.

Дуняша глядела и не узнавала Глашу. Совсем иная стала: высокая, стройная, на смуглых щеках румянец появился, глаза задорно засверкали. А ее страшные большие сапоги, словно чужие, стояли в стороне.

— Что это я?! Как от браги развеселилась...

Глаша закрутила косы на голове, повязала черную монашескую косынку, надела сапоги. И опять как-будто вся опустилась, стала шире.

Дуняша даже рот открыла. Снова не признать Глашу. «Как монастырская одежда красу девичью прячет!» — подумала она.

— А грибы-то прямо неси в келью, Федоре, — сказала Глаша. — Пусть поглядит. Спросит меня — скажи: «Пошла за травой корове». Ну иди, да скажешь — грибов мало было, все больше поганки.

* * *

У мелкого лесочка за оврагом они расстались. Дуняша немного подождала, пока Глаша скрылась, и повернула в другую сторону, к реке.

Еще издали Дуняша ясно увидела: на дверях будки висел большой замок. Сердце ее забилось. «Как же без весел лодку гнать буду?» Она беспомощно огляделась, но тут же радостно всплеснула руками — у стены стояла пара весел, а из камышей торчала лодка, привязанная за корягу.

«Как же ночью страшно будет!.. — Она закрыла глаза и быстро их открыла. Упрямо сдвинула брови. — Ну и пусть! Все одно убегу!»

Она подошла совсем близко к самой речке и босой ногой попробовала воду.

— Ой, какая студеная!..

В стороне в маленьком болотце на все лады распевали лягушки. Чайка в белом нагруднике прокалывала воду клювом, ловила мелкую рыбешку. Дуняша загляделась на нее.

Уже давно закат перегорел, убрал с тихой речки медную полоску. Дуняша встрепенулась. «Пора возвращаться», — подумала она. Корзину облепила серая стайка воробьев. Они чирикали, взлетали, опять садились, как будто дразнили Дуняшу. Воробьи были такие веселые, беззаботные. Даже жаль было их гнать. Она махнула рукой — стайка разлетелась, и Дуняша быстро пошла к монастырю, задевая корзиной за крапиву, за пеньки.

В кухне мать Федора набросилась на Дуняшу:

— Где была, иродово племя?

— Я, я... Грибы вот принесла, — заикаясь, ответила Дуняша.

Федора не слушала Дуняшу.

Она выпучила глаза, волосатые ее бородавки на носу запрыгали.

— А про самовар забыла?!.

Дуняша попятилась, дрожащими руками схватила ведро с водой, стала наливать в самовар. Вода хлынула в трубу.

— Куда же ты льешь? Ум-то у тебя где?

Она плюнула, перекрестила рот и вышла, хлопнув дверью. Девочка долго разжигала самовар. В сырой трубе шишки не горели, как инеем их хватило.

Вошла Глаша.

— Ну-ка, — она отодвинула в сторону Дуняшу. — Дай я ему, желтобрюхому, ветру нагоню.

Глаша сняла с ноги сапог и стала раздувать. В ее руках сапог, как гармонь, сжимался и разжимался. Искры посыпались из отдушин. В трубе загудело.

— Ну, поторапливай самовар-то, — лукаво подмигнула Глаша, — а то скоро Ворона вернется. А я пойду к воротам.

* * *

Был субботний день. В монастыре давно все спали. Церковные часы пробили полночь. Дуняша затаив дыхание тихо вышла из своей кельи. Небо было темное, словно проглотило звезды.



Она шагнула на узкую дорожку. Босые ноги оставляли на желтом песке влажный след. Из окна игуменьи падал свет на старую липу, серебрил молодые листья. На широком суку дремал большой черный кот. В келье горела большая керосиновая лампа и освещала красивое застывшее лицо игуменьи в кружевном чепце; на голубом атласном одеяле лежала ее рука — белая, как мрамор.

Дуняша длинной тенью скользнула мимо окна к высокому желтому забору. Она с трудом перелезла через него. Неожиданно щелкнула калитка.

— Дуняша, Дуняша, — тихо позвала Глаша.

Девочка бросилась на землю и затаила дыхание.

А Глаша совсем близко подошла к изгороди, постояла немного и опять скрылась в темноте. Дуняша боялась подняться. Горячая кровь приливала к щекам, вся она как бы отяжелела.

Когда все стихло, Дуняша вылезла из своей засады и побежала не оглядываясь. Ветки хлестали по лицу, кололи щеки, цеплялись за косу. Вскоре на нее глядела речонка большим мокрым глазом.

Совсем рядом застучала колотушка. Дуняша прижалась к широкому дубу. Мимо прошел сторож, что-то ворча себе под нос. А за ним брела большая горбатая тень.

С трудом оттолкнула Дуняша лодку, скинула с себя ненавистное черное платье, косынку скрутила в ком, швырнула его далеко на землю и осталась в одной самотканой рубашонке.

Она неуклюже прыгнула в лодку. Лодка качнулась, хлебнула воды. Но девочка не вскрикнула — только сердце замерло, словно остановилось.

Дуняша с силой ударила веслами о воду. Лодка вздрогнула, выпрямилась, и сразу как будто отодвинулось все прошлое. Побежал ветерок вперегонки с веслами, неся за собой аромат смолы и мяты. Вышел ранний месяц и осветил новый Дуняшин путь...

Вскоре Дуняша причалила к другому берегу. Было тихо, и только старая ива молодилась — полоскала косы в мелкой речушке...

Мы покидаем Дуняшу после ее первого решительного шага. Немало еще пришлось ей пройти в жизни тяжелых дорог, пережить невзгоды, голод и стужу. Но наступил день, когда яркая звезда свободы и новой жизни осветила землю, а с ней и Дуняшину жизнь. Свершилась Октябрьская революция. И вот сбылась мечта девушки. Она начала учиться, стала грамотной.

Часто по ночам Дуняша вспоминала свои сказки — те сказки, которые она не раз рассказывала в детстве ребятам, любимой кукле Акулишке.

И все новые и новые сказки рождались у нее. Она читала их малышам и взрослым в школах, в детских садах. Вскоре их стали печатать в книжках.

Но все эти годы Дуняша вспоминала о своем горьком, безрадостном детстве. Вот она и решила написать для вас, ребята, эту повесть, рассказать вам, как жилось детям бедняков в царской России.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Присылайте ваши отзывы о содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении книги по адресу: Москва, А-55, Сущевская, 21. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», массовый отдел.

Миронова Дина Демьяновна

ПОТЕРЯННОЕ ДЕТСТВО

Для детей младшего школьного возраста

Редактор *Н. Шашерина*
Худож. редактор *В. Плешко*
Оформление художника *А. Солдатова*
Техн. редактор *А. Ковалев*

А06711 Подписано к печати 22/VII 1959 г.
Бумага $84 \times 108^1/_{32} = 0{,}875$ бум. л. =
2,87 печ. л. 2,6 уч.-изд л. Заказ 1024
Тираж 90 000 экз. Цена 80 коп.

Типография «Красное знамя»
изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-55, Сущевская, 21.